



## Двухнедельный журнал литературный и политический.

Под редакцией И. А. Вилого и М. Ф. Фролова.

Редакция и контора: Praha-Žižkov, Jagellonská 24, Tchécoslovaquie.

Почтовый текущий счет в Чехословакии 303.997.

№ 27

Прага, четверг 10-го января 1929 г.

№ 27

А. Троицкая.  
(Прага).

\* \* \*  
Лес, будто в сказке, заснул замороженный,  
В иное месяц встает...  
В полночь заплакал в кустах новорожденный  
Новый загадочный год.  
Милый малютка! С надеждой и ласкою  
Все мы давно тебя ждем...  
Глянь-же своими невинными глазками,  
Видишь, как тихо кругом!  
Молви скорей, что из сумрака тайного  
Ты нам на землю принес,  
Станет ли меньше несчастья случайного,  
Горя, страданья и слез?  
Ты еще юн и душой своей нежною  
Можешь жалеть и скорбеть!..  
Долго-ли там, где равнина безбрежная,  
Где завывает мятелица снежная,  
Людам молчать и терпеть?..

Гнат Макуха.  
(Югославия).

\* \* \*  
Ой, повій ты, вітре буйний,  
Рідними степами,  
Рознеси ты мою думку  
Тай по м'як братами.  
Думка ж моя невелика:  
Долю й волю брату,  
Щастя й спокій на Кубані,  
Мир у рідну хату!

С. Савицький.  
(Бразилія).

\* \* \*  
Шукаємо долю по світі,  
Покинувши рідні стени.  
Чекають жінки нас та діти,  
Чекають й старенькі батьки...  
Ще раз би піти пригорнути  
До серця дрібних сиротят, —  
Тоді, й хоч навіки заснути  
Деся там, коло рідних тих хат..

Санжа Балыков.

### Ковыльный шелест.

Азман — большеголовый, кривоногий десятилетний мальчик, с порьжелыми от солнца давно нечесанными волосами, с черным от загара лицом, босиком идет — в степь, к едва видневшемуся вдалеке „Красному яру“, под которым, на берегу степного пруда, должен был в это время быть его дедушка — Джада, — очередной пастух хотонного скота.

Мягкая, желтая, бараньей кожи сумочка — „дильинг“, с половинкой выпеченного в сковородке калмыцкого хлеба, с четырьмя большими жирными кусками вареной конины, да большой бутылкой холодной раки, висят у него за плечом. Азман несет деду обед.

День был безветренный, жаркий, июньский. От тона до Красного яра далеко, верст пять. Но, Азман, не лентяй, он мальчик послушный и деда старого любит.

Идет Азман, песню уличную частушку под нос мурлычет и головки цветов тонкой хворостинкой, как шапкой, по пути сбивает.

Дедушка, Джада, действительно, оказался у пруда, под Красным яром. Внук издалека его увидел: воткнул палку в кротовую кучу, выбросил на палку свой бешмет и, отбивав этим у солнца коротенькую тень для головы, лежал он на земле, растянувшись во весь свой саженный рост.

Пестрое стадо коров лежало у самой воды; многие из них, по брюхо войдя в воду, стояли там, отмахиваясь от насекомых хвостами.

Природа застыла в полуденной дремоте. Неподвижный пруд стеклом горячим блестел на солнце.

— Ава! Обед я принес! крикнул Азман, неслышно подходя к деду.

— Адь!.. вот молодчик, неси сюда, мой хороший, дай!.. — откликнулся дед, подымаясь и заслоняя ладонью глаза от солнца.

— Азман отдал старику обед и, утирая рукавом лоснящееся потом лицо, весело говорил:

— Далеко было... боялся.

— Ну!, разве ты не мужчина, кто же днем бонтоя? Пойдем, искупаемся, а потом будем обедать, — ласково говорил дед, направляясь к пруду.

Прежде чем войти в воду, Джада предварительно зарыл бутылку с рабьей глубоко в грязь.

Азман, умеренный ходьбой по жаре, и дед, равномерный лежанием на солнце, с наслаждением долго купались, ныряя, плавая, плескаясь водой.

После купанья одевшись, старик вытащил бутылку из грязи, бережно обмыл и, видимо, с большим удовольствием отпил. Потом дед и внук стали обедать. Азман, уже пообедавший дома, не отставал и тут от деда. Навевшись, дед лег отдохнуть.

— А ты, Азман, иди домой — проговорил он.

— Я, дедушка, останусь при вас; вечером вместе погоним стадо...

— Ну, ладно, тогда ложись сюда, полежим, а потом поднимем скот и выгоним на поляс, жара скоро начнет сходить, — сказал дед, давая место в тени и для головы внука.

Азман быстро задремал. Джада то и дело подымался и прикладывался к горлышку бутылки с рабьей.

Несмотря на свои семьдесят пять лет, Джада был еще крепкий старик. Волосы на седой голове были еще густы и наполнены черны, целы были почти все зубы, глаза видели хорошо, чуток был слух.

От силы его, гремевшей когда то на всю окрестность, осталось еще столько, что, когда его сын, сорокалетний здоровый мужчина, вздумал на Цагане побужаить, бить жену, Джада схватил одной рукой за шноррот, придала головой к земле и держал до тех пор, пока сын не взмолился о пощаде.

Только, на старости лет, Джада стал очень болтлив. Молодому, старому, ребенку ли, женщине, мужчине, все равно, он находил что рассказать, особенно, когда был нахмеле.

Множество легенд, воспоминаний из своей молодости, сказок приходилось слышать от деда Азману.

„Ты, Азман, будь в деда, в меня, а не в отца. Слабый мужчина твой отец, от матери покойной унаследовал... в его годах, я разве такой был?... И начинал дед рассказывать внуку, каким он был в молодости.

Бутылка крепкой раки развязала язык ему и на этот раз.

Не прошло и часа, как дед, разбудив внука, гнал стадо в степь.

Насытившиеся до отвала коровы лениво бродили по степи, лакомясь только наиболее вкусными травами, или лежали, жуя жвачку. Гнать стадо в хотон было еще рано. Солнце было еще высоко, но жара уже ослабела. Легкой рябью волнуя море седого ковыля, дул теплый предвечерний ветерок.

Дед сидел лицом против ветра и, высоко подымая руку с торчащим указательным пальцем, рассказывал внуку:

— Ты, Азман, не знаешь, какой я был хороший, лихой вор. Никогда я не брал лошадей ближе, чем за сто верст... Я водил только из за Дона, от Волги, от Кумы. И брал я не всякую лошадь, а только ту, что репутацией известна была на всю округу.

Избегал гнать из табунов в степи... Думал: „из табуна, со степи, всякий дурак и трус может угнать“. Любил брать из конюшен, из под крепких замков... Бывало, под едешь темной ночью к экономи какого-нибудь богатого коннозаводчика, оставишь лошадь у своего коновода, скинешь сапоги, засучишь брюки до колен, бешмет долой, стиснешь в одной руке плеть, в другой шворень от веза и пойдешь, как волк, крадучись под стенками базов и амбаров.

Дойдешь до нужной конюшни, вложишь шворень в кольцо замка, даванешь, — замок долой.

Берешь в конюшне узденку, внизудаешь лучшего же-

ребца, если есть седло, то оседлаешь, выведешь, сядешь, еще гикнешь нарочно и помчишься... За тобой крик, шум, гам, выстрелы...

— А зачем же вы кричали, дед?

— А чтобы погнались за мной, чтобы стреляли по мне, тогда веселее на дуле делалось, забавнее бывало. Ни разу нас не поймали?

— Нет... меня не могли поймать. Да... было время. Просыпал я раз, что у таврических немцев хорошие кони водятся, заграничные, думаю: „Надо достать“. Взял с собою надежного коновода, своего друга Нимбу, который тогда почти один умел хорошо по русски говорить, и в один темный весенний вечер выехал.

Ехали всю ночь и еще пол дня. В полдень остановились в степи, в балке, отпустили подруги коням и по очереди проспали там до вечера.

Вечером опять тронулись и ехали до полуночи. Доехали до одного немецкого села. Немцы в это время были на пашне, в поле. Слез я с коня, приготовился, подобрал себя и, оставив Нимбу с нашими конями, пошел бродить по кошам. Сперва я нашел в подводах сено и хлеб, наелся сам, пришел Нимбу накормил, из бочки наполнил воды, принес одну цыбарку и коням дал глотнуть, а потом и пошел выбирать коней. Долго выбирал. Все какие-то тяжелые попадались. Наконец, попал на пару хороших. Здоровые, шея как у лебеди, гладкие. На шею надеты цепочки, цепочки продеты в кольца в брличке и на замочек. Дело пустое, если бы был шворень, да на грех потеряли его в пути. Что тут делать. Думал, думал... Вынул я платок, завернул им цепь в одном месте, взял цепь в руки в этом месте и крутнул, — одно звено в цепи лопнуло.

Освободил я лошадей и повел. Хозяйева, видимо отец с сыном, спят себе, недалеко от брлички. В головах оружие — вилы. Вижу, под хозяевами — хорошая, белая полсть.

Отвел я лошадей к Нимбу и говорю ему, что, вот мол, немцы спят на хорошей белой полсти.

„Пожалуйста, говорит, достань, жене на ширдык повезу“.

Думаю: „Нужно другу уважить“.

Взял я аркан, подошел опять к спящим, прорезал на уголке полсти дырочку, продел в нее аркан, повязал по калмыцки, потом подвел своего коня, сел на него, взял аркан под стремя и... „чу!“ — придавил коня. Конь мой реанулся с места: спящие поспыпались, покатились на землю, и, кужасу их, полсть из под них взвилась белой птицей и скрылась в темноте.

Как загалдели немцы по всей пашне, стали кричать, стрелять неизвестно куда и в кого, а наш и след пропал.

Только насилу тех лошадей привели, тяжелые, ленивые оказались, и зарезал их на махан для всего хотона и больше не брал немецких лошадей. Не годятся для калмыков.

А вот дербетские, донские и киргизские — хороши. Особенно киргизы, маленькие, но такие бедовые попадают, что прямо, как огонь, вот бы их с английскими случить, интересные, новые коня должны получаться...

— А зачем вы, дедушка, крали, бедно жили?

— Ху! бедно, до ста голов коров я имел, это твой отец сумел так обеднеть, что всего сорок штук осталось, да косяк лошадей у меня был. От скуки я крал! Некуда удаль молодецкую было девать! Что же мне было делать, как кражей не забавляться! Я был благородный вор: у ближних никогда не брал, бедных шадил, даже помогал им. Зато мне и почет и уважение от всех были. Каждый старался мне угодить. Сам покойный полковник Кирсанов на дом меня приглашал. Позовет, бывало, нальет чарку какой-то хорошей водки и четвертную бумажку протягивает. А за что, неизвестно... А за то, чтобы из его табуна я не вздумал в дербеты погнать, или, если другие украдут, чтобы я отыскивал.

— Хоть раз отыскивали ему пропажу?

— Сколько раз! Однажды целый косяк бурлаков угнали у него, так я целых три месяца искал их. Только три бурлака я подарил одному богатому дербету на прищод, остальные все вернул. В тот раз щедро водки Кирсанов мне прислал.

— Дедушка, а теперь воруют?

— Теперь реже, тесно стало, но все же воруют... Только разве теперь воры?! Подлецы они да и только. Теперешние гоняют паршивую корову, быков, обижают соседей, стараются украсть у какогонибудь бедняка, которому не на чем выехать поискать прощажу, у вдовы, у бездетных стариков, да все украденное стараются продать, чтобы в карты играть, в гостиницах прогулять... А мы: никогда у бедных не брали, не крали даже в своем округе, с коровами и быками не возились. Если, бывало, пригонял много лошадей, так я многим просто раздаривал на добром слове, потому меня все и любили в хотоне. А теперешних разве кто любит?! Да никто! Их выдают полиция, сажают в тюрьмы, так и надо, потому они не молодцы, а просто жулики...

Дед серито сплюнул, заткнув одну ноздрю большим пальцем, звучно сморкнулся. Потом достал из сумки давно пустую бутылку и еще раз с укоризной посмотрел на нее и задумался...

Азман, слушающий дела с напряженным вниманием, встал и, живо поймав в траве двух кузнечиков, держа их за ноги, начал тыкать их головами друг в друга. Кузнечики начали ожесточенно драться, испуская изо рта темную жидкость, стали рвать друг другу губы, ломать челюсти.

— Да... — после продолжительного молчания, уже спокойно, как будто с сожалением начал дед, — все идет на гибель, на вырождение. Конец всему скоро будет. Люди с каждым годом мельчают душой и телом, мельчает скот, редуют травы, стали ниже выгонять рост, даже земля как будто стала сохнуть, сжиматься... Куда ни помотришь, к чему ни прислушаешься, все слышно: „Конец... конец“...

— Ты послушай, что шепчет ковыльный шелест, вот прислушайся!..

Внимательно, приложив ухо к земле, слушал Азман ковыльный шелест...

— Мне, дедушка, ничего не слышно, никто ничего не говорит.

— А!.. молод ты еще. Не открыто это тебе.

Ты думаешь по пустому ковыль в степи шелестит? Нет. Все в природе живущее и растущее говорит, имеет свой язык. И травы, и деревья и животные.

„Конец идет русскому царству, русской земле“ — говорит ковыльный шелест. „Будет кровопролитная война. Смута великая будет. Брат будет убивать брата. Все вырежут друг друга. Огнем будет пожжено, солнцем высушено. Села будут пусты... Голод настанет великий“. Вот что шепчет седой ковыль.

— Дедушка, вы недавно говорили, что все это написано в предсказаниях Дживзен-Дамба Ламы, а теперь говорите, что об этом ковыль вам шепчет.

Джада немного смутился, но, оправившись, буркнул:

— Да, и там это есть, и здесь я слышу.

— А почему все это случится?

— Да потому, что срок иноверцам пришел. Их срок выпросил у Бога для своего народа две тысячи лет жизни, вот этот срок и приходит.

— Тогда как же быть нам, калмыкам?

— Наше дело, Азман — другое. До нашего срока еще далеко. Наш Будда выпросил для нас пять тысяч лет жизни. Если бы мы жили совсем отдельно от русских, или в свое время сумели бы уключать с Абушей-ханом, тогда бы эти бедствия совсем нас не коснулись, но так как мы перемешались с русскими, то, возможно, и нас захватит беда. Но и этот случай предвидел наш Будда и установил для всех калмыков отличительный знак от русских. Знаешь какой?

— Нет.

— Ну, так вот смотри... С этими словами снял дед с головы свою полинявшую казацкую фуражку и ткнул пальцем в маленький красный махор на ней.

— Для чего, ты думаешь, я это ношу? А вот для того, чтобы, когда Боги будут пролетать над землей и посылать бедствия на инородцев, которым пришел срок, не захватили и нас, калмыков. Наш Будда тоже будет летать с этими Богами и, как только увидит красный махор на голове, то будет говорить: „Минуй этого, это Улан-Залата Хальмак, им еще жить“. Поэтому все калмыки должны носить красный махор на голове, — „Улан Зала“.

Да только куда там... Никто из калмыков почти не носит. Мы, старики да бабы. Забыли все про наказ Бога, а вот придет беда, тогда, может, уже поздно будет...

Дед умолк. Долгая, возбужденная речь его утомившая. Солнце за это время дошло до западной части неба и начинало незаметно сползать вниз. Прохлада оживила природу. Поднявшееся стадо, медленно пасясь, направлялось к хотону.

Дед и ввук поднялись и пошли догонять стадо. Джада, опираясь одной рукой на палку, бодро шел по степной тропочке. Азман то и дело подбегал к торчащим седым „катранам“ и, как шашкой, рубил их головки своей хворостинкой.

— Вот... — думал дед, глядя на внука — резвится мальчик, совсем неосознанно это делает, а ведь и он своим действием говорит, предзнаменует, что скоро будет война.

Стадо уже доходило до хотона, дед и ввук проходили пыльную проезжую дорогу, как зазвенели вдали бубенчики, и показалась мчащаяся тройка с развевающимся красным флагом на древке. Вмиг тройка поравнялась с пастухами и скрылась в клубах густой пыли, мчась дальше в экваторию.

Сняв фуражку, с широко разинутым ртом долго стоял дед, смотря вслед тройке.

„Началось“, — прошептал он про себя и поспешно зашагал к хотону.

\*\*\*\*\*

Мартин Забігайло. (Югославия).

## Як будували Остапові нову хату.

Жив собі на світі один чоловік. Звали його Остап. Займався він хазайством та хліборобством. Чоловік він був дуже трудячий та хазайновитий. Поки був молодий, так робив за троєх, не накладаючи рук: вставав рано, ще до сонечка, а лягав пізно; у день негавяв часу, не досипав ночей, та й придбав собі неликими трудами чимало усякого добра. Тільки і одягнув, було, трохи, як у правник, або в неділю піде до церкви: помолиться Богові милосердному, та подякує Йому, що посилав йому здоров'я, прибавляє віку, та допомагає в його важних хазайських трудах.

От і послав Остапові Господь гарну у світі долю та поблагословив його усяким щастям. Не вчувся, не углядав він, як у його, дуже якого скоро, вприсло аж сім синів; та усі поціданись ір'які та здорові, смирні та слух'яні. Скоро він поженив їх одного за другим,

забрав у двір гарних та здорових невісток, а там, незабаром, дждав і онуків.

Отак потроху виросла у Остапа і стала дуже велика сім'я: було кому і діло робити, і по хазайству скрізь справляється; свої були робітники і робітниці, погоничі, товарчі чи підпаски. А сам Остап тільки за хазайством приглядав, та усім добрий поряток додав. Як вийде, було, раненько із хати, та поглине скрізь хазайським оком, так аж душа в його радується, дивлячись, як навколо його сімейство метушаться, мов ті бджоли коло уліка.

Піде Остап потихеньку скрізь, щоб на усе подивитися, або й допомогти у чому небудь, так де там! Тільки візьме у руки вила, або граблі, зараз тут і підскоче до нього який небудь із онуків:

— Та що ви, дідусю? Покиньте! Хіба ми без вас